



## Пролог

**О**т нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблёлкла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные ещё при съёмке, сейчас окончательно расплылись: иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

На фотографии мы были 7-м «Б». После экзаменов Искра Полякова потащила нас в фотоателье на проспекте Революции: она вообще любила проворачивать всяческие мероприятия.

— Мы сфотографируемся после седьмого, а потом после десятого, — ораторствовала она. — Представляете, как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками!

Мы набились в тесный «предбанник»; перед нами спешили увековечиться три молодые пары, старушка с внучатами и отделение чубатых донцов. Они сидели в ряд, одинаково картинно опираясь о шашки, и в упор разглядывали наших девочек бесстыжими казачьими глазами. Искре это не понравилось: она тут же договорилась, что нас позовут, когда подойдёт очередь, и увела весь класс в соседний сквер. И там, чтобы мы не разбежались, не подрались или, не дай бог, не потоптали газонов, объявила себя пифией. Лена завязала ей глаза, и Искра начала вещать. Она была щедрой пророчицей: каждого ожидали куча детей и вагон счастья.

- Ты подаришь людям новое лекарство.
- Твой третий сын будет гениальным поэтом.
- Ты построишь самый красивый в мире Дворец пионеров.

Да, это были прекрасные предсказания. Жаль только, что посетить фотоателье второй раз нам не пришлось, дедушками стали всего двое, да и бабушек оказалось куда меньше, чем девочек на фотографии 7-го «Б». Когда мы однажды пришли на традиционный сбор школы, весь наш класс уместился в одном ряду. Из сорока человек, окончивших когда-то 7-й «Б», до седых волос дожило девятнадцать. А из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.

Наша компания тогда была небольшой: три девочки и трое ребят — я, Пашка Остапчук да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зиночки была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой; мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались «надеждой школы», а увалень Александров был признанным изобретателем. Пашка числился влюблённым в Леночку, я безнадёжно вздыхал по Зине Коваленко, а Валька увлекался только собственными идеями, равно как Искра — собственной деятельностью. Мы ходили в кино, читали вслух те книги, которые Искра объявляла достойными, делали вместе уроки и — болтали. О книгах и фильмах, о друзьях и недругах, о дрейфе «Седова», об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе и просто так, ни о чём.

Иногда в нашей компании появлялись ещё двое. Одного мы встречали приветливо, а второго откровенно не любили.

В каждом классе есть свой тихий отличник, над которым все потешаются, но которого чтут как достопримечательность и решительно защищают от нападков посторонних. У нас того тихоню звали Вовиком Храмовым: чуть ли не в первом классе он объявил, что зовут его не Владимиром и даже не Вовой, а именно Вовиком, да так Вовиком и остался. Приятелей у него не было, друзей — тем более, и он любил «прислоняться» к нам. Придёт, сядет в уголке и сидит весь вечер, не раскрывая рта, — одни уши торчат выше головы. Он стригся под машинку и поэтому обладал особо выразительными ушами. Вовик прочитал уйму книг и умел решать самые заковыристые задачи; мы уважали его за эти качества и за то, что его присутствие никому не мешало.

А вот Сашку Стамескина, которого иногда притаскивала Искра, мы не жаловали. Он был из отпетой компании, ругался как ломовой. Но Искре вздумалось его перевоспитывать, и Сашка стал появляться не только в подворотнях. А мы с Пашкой так часто дрались с ним и с его приятелями, что забыть этого уже не могли: у меня, например, сам собой начал ныть выбитый лично им зуб, когда я обнаруживал Сашку на горизонте. Тут уж не до приятельских улыбок, но Искра сказала, что будет так, и мы терпели.

Зиночкины родители поощряли наши сборища. Семья у них была с девичьим уклоном. Зиночка родилась последней, сёстры её уже вышли замуж и покинули отчий кров. В семье главной была мама: выяснив численный перевес, папа быстро сдал позиции. Мы редко видели его, поскольку возвращался он обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал в Зиночкину комнату и всегда приятно удивлялся:

— А, молодёжь? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что новенького?

Насчёт новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.

— Как вы рассматриваете заключение Договора о ненападении с фашистской Германией?

Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался. Мы с Пашкой считали, что он навеки запуган прекрасной половиной человечества. Правда, Искра чаще всего задавала вопросы, ответы на которые знала назубок.

— Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.

— Правильно, — говорил Зинин папа. — Это ты верно рассудила. А вот у нас сегодня случай был: заготовки подали не той марки стали...

Жизнь цеха была ему близка и понятна, и он говорил о ней совсем не так, как о политике. Он размахивал руками, смеялся и сердился, вставал и бегал по комнате, наступая нам на ноги. Но мы не любили слушать его цеховые новости: нас куда больше интересовали спорт, авиация и кино. А Зинин папа всю жизнь точил какие-то железные болванки; мы слушали с жестоким юношеским равнодушием. Папа рано или поздно улавливал его и смущался.

— Ну, это мелочь, конечно. Надо шире смотреть, я понимаю.

— Какой-то он у меня безответный, — сокрушалась Зина. — Никак не могу его перевоспитать, прямо беда.

— Родимые пятна, — авторитетно рассуждала Искра. — Люди, которые родились при ужасающем гнёте царизма, очень долго ощущают в себе скованность воли и страх перед будущим.

Искра умела объяснять, а Зиночка — слушать. Она каждого слушала по-разному, но зато всем существом, словно не только слышала, но и видела, осязала и обоняла одновременно. Она была очень любопытна и чересчур общительна, почему её не все и не всегда посвящали в свои секреты. Зато любили бывать в их семье с девичьим уклоном.

Наверное, поэтому здесь было по-особому уютно, по-особому приветливо и по-особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было не на кого. Здесь вечно что-то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили и непременно пекли пироги. Они были из дешёвой тёмной муки; я до сих пор помню их вкус и до сих пор убеждён, что никогда не ел ничего вкуснее этих пирогов с картошкой. Мы пили чай с дешёвыми карамельками, лопали пироги и болтали. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.

— А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?

— Чтобы чай был с керосином?

— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.

— Ну собачь, — соглашалась Зина.

Валька что-то пристраивал, грохотал, дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.

— У Эдисона тоже не всё получалось.

— Может, мне Вальку разок за уши поднять? — предлагал Пашка. — Эдисона один раз подняли, и он сразу стал великим изобретателем.

Пашка и вправду мог поднять Вальку за уши: он был очень силён. Влезал по канату, согнув ноги пистолетом,

делал стойку на руках и лихо вертел на турнике «солнце». Это требовало усиленных тренировок, и книг Пашка не читал, но любил слушать, когда их читали другие. А так как чаще всего читала Лена Бокова, то Пашка слушал не столько ушами, сколько глазами: он начал дружить с Леной ещё с пятого класса и был постоянен в своих симпатиях и антипатиях. Искра тоже неплохо читала, но уж очень любила растолковывать прочитанное, и мы предпочитали Лену, если предполагалось читать нечто особенно интересное. А читали мы тогда много, потому что телевизоров ещё не изобрели и даже дешёвое дневное кино было нам не по карману.

А ещё мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или проценты, а за честь написать письмо папанинцам или именоваться «чкаловским», за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей.

Я попал однажды в такую делегацию, потому что победил на стометровке, а Искра — как круглая отличница и общественница. Мы принесли с этой встречи ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина. И торжественно съели эти апельсины всем классом: каждому досталось по полторы дольки и немножко кожуры. Я и сегодня помню особый запах этих апельсинов.

И ещё я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолёт совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так и не долетев до ледового лагеря. Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив стихотворения. Потом-то я его выучил: «Да, были люди в наше время...» А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная

карта и каждый ученик имел свой собственный самолёт. Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолёт был снят с полёта. И «плохо» было не просто в школьном журнале: плохо было мне самому и немного — чуть-чуть! — челюскинцам, которых я так подвёл.

А карту выдумала Искра.

В десятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения «Кем я хочу стать?». И все ребята написали, что они хотят стать командирами Красной армии. Даже Вовик Храмов пожелал быть танкистом, чем вызвал бурю восторга. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали её, мечтая об армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало.

В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а поскольку он был кадровым командиром Красной армии, то его старая форма перешла ко мне. Гимнастёрка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и будёновка из тёмно-серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание её не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой модной.

Мне люто завидовали все ребята. И даже Искра Полякова.

— Конечно, она мне немного велика, — сказала Искра, примерив гимнастёрку. — Но до чего же в ней уютно. Особенно если потуже затянуться ремнём.

Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них — ощущение времени. Мы все стремились затянуться потуже,



точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от одного нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, всполохи которого ещё долго светят грядущим поколениям. Мы не знали, но это знали наши отцы и матери, прошедшие яростный огонь революции.

Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной. Впрочем, нет, одна квартира была с ванной, но об этом после. Мы ходили в баню обычно втроём: я, Валька и Пашка. Пашка драил наши спины отчаянно жёсткой мочалкой, а потом долго блаженствовал в парной. Он требовал невыносимого жара, мы с Валькой поддавали этот жар, но сами сидели внизу. А Пашка издевался над нами с самой верхней полки:

— Здравствуйтесь, молодёжь.

Как-то в парную, стыдливо прикрываясь шайкой, бочком проскользнул Андрей Иванович Коваленко — отец Зиночки. В голом виде он был ещё мельче, ещё неказистее.

— Жарковато у вас.

— Да разве это жар? — презрительно заорал сверху Пашка. — Это же субтропики! Это же Анапа сплошная! А ну, Валька, поддай ещё!

— Борькина очередь, — объявил Валька. — Борька, поддай.

— Стоит ли? — робко спросил Коваленко.

— Стоит! — отрезал я. — Пар костей не ломит.

— Это кому как, — тихо улыбнулся Андрей Иванович.

И тут я шарахнул полную шайку на каменку. Пар взорвался с треском. Пашка восторженно взвыл, а Коваленко

вздыхнул. Постоял немного, подумал, взял свою шайку, повернулся и вышел.

Повернулся...

Я и сейчас помню эту исколотую штыками, исполосованную ножами и шашками спину в сплошных узловатых шрамах. Там не было живого места — всё занимал этот сине-багровый автограф Гражданской войны.

А вот мать Искры вышла из той же Гражданской иной. Не знаю, были ли у неё шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Такие же, как на спине у отца Зиночки.

Мать Искры — я забыл, как её звали, и теперь уже никто не напомнит мне этого — часто выступала в школах, техникумах, в колхозах и на заводах. Говорила резко и коротко, точно командуя, и мы её побаивались.

— Революция продолжается, запомните. И будет продолжаться, пока мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе. Суровой и беспощадной.

А может, всё это мне только кажется? Я старею, с каждым днём всё дальше отступая от того времени, и уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной. Может быть, но я хочу избежать того, что диктует мне возраст. Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным...



## Глава первая

—**Я**сненько-ясненько-прекрасненько! — прокричала Зиночка, не дослушав материнских наставлений.

Она торопилась закрыть дверь и накинуть крючок, а мать, как всегда, застряла на пороге с последними указаниями. Постирать, погладить, почистить, прокипятить, подмести. Ужас сколько всего она придумывала каждый раз, когда уходила на работу. Обычно Зиночка терпеливо выслушивала её, но именно сегодня мама непозволительно медлила, а идея, возникшая в Зиночкиной голове, требовала действий, поскольку была неожиданной и, как подозревала Зина, почти преступной.

Сегодня утром во сне Зиночка увидела себя на берегу речки. Этим летом она впервые поехала в лагерь не обычной девочкой, а помощником вожатой, переполненная ощущением ответственности. Она всё лето так строго сдвигала колючие бровки, что на переносице осталась белая вертикальная складочка. И Зиночка очень гордилась ею.

Но увидела она себя не с пионерами, ради которых и приходилось сдвигать брови, а со взрослыми: с вожатыми отрядов, преподавателями и другими начальниками. Они загорали на песке, а Зиночка ещё плескалась, потому что очень любила бултыхаться на мелководе. Потом на неё прикрикнули, и Зиночка пошла к берегу, так как ещё не научилась слушаться старших.

Уже выходя на берег, она почувствовала взгляд: пристальный, оценивающий, мужской. Зиночка смутилась, крепко прижала руки к мокрой груди и постаралась поскорее упасть на песок. А в сладком полусне ей

представилось, что там, на берегу, она была без купальника. Сердце на мгновение ёкнуло, но глаз Зиночка так и не открыла, потому что страх не был пугающим. Это был какой-то иной страх, на который хотелось посмотреть. И она торопила маму, пугаясь не страха, а решения заглянуть в него. Решения, которое боролось в ней со стыдом, и Зиночка ещё не была уверена, кто кого переборет.

Накинув крючок на входную дверь, Зиночка бросилась в комнату и первым делом старательно задёрнула занавески. А потом в лихорадочной спешке стала срывать с себя одежду, кидая её куда попало: халатик, рубашку, лифчик, трусики... Она лишь взялась за них, оттянула резинку и тут же отпустила: резинка туго щёлкнула по смуглому животу, и Зиночка опомнилась. Постояла, ожидая, когда уймётся застучавшее сердце, и тихонечко пошла к большому маминому зеркалу. Она приближалась к нему как к бездне: чувствуя каждый шаг и не решаясь взглянуть. И только оказавшись перед зеркалом, подняла глаза.

В свинцовом зеркальном холодке отразилась смуглая маленькая девушка с круглыми от преступного любопытства, блестящими, как вишенки, глазами. Вся она казалась шоколадной, и лишь не по росточку большая грудь да полоски от бретелек были неправдоподобно белыми, словно не принадлежавшими этому телу. Зиночка впервые сознательно разглядывала себя как бы со стороны, любовалась и одновременно пугалась того, что казалось ей уже созревшим. Но созревшей была только грудь, а бёдра никак не хотели наливаться, и Зиночка сердито похлопала по ним руками. Однако бёдра ещё можно было терпеть: всё-таки они хоть чуточку да раздались за лето, и талия уже образовалась. А вот ноги огорчали

всерьёз: они сбегали каким-то конусом, несоразмерно утоньшаясь к щиколоткам. И икры ещё были плоскими, и колени ещё не округлились и торчали, как у девочки-пятиклашки. Всё выглядело просто отвратительно, и Зиночка с беспокойством подозревала, что природа ей тут не поможет. И вообще все счастливые девочки жили в прошлом веке, потому что тогда носили длинные платья.

Зиночка осторожно приподняла грудь, словно взвешивая: да, это уже было взрослым, полным будущих ожиданий. Значит, такая она будет — кругленькая, тугая, упругая. Конечно, хорошо бы ещё подрасти, хоть немного; Зина вытянулась на цыпочках, прикидывая, какой она станет, когда наконец подрастёт, и, в общем, осталась довольна. «Подождите, вы ещё не так будете на меня смотреть!» — самодовольно подумала она и потанцевала перед зеркалом, мысленно напевая модное «Утомлённое солнце».

И тут раздался звонок. Он ворвался так неожиданно, что Зиночка было ринулась к дверям, но потом метнулась назад, торопливо, кое-как напялила разбросанную одежду и вернулась в прихожую, на ходу застёгивая халатик.

— Кто там?

— Это я, Зиночка.

— Искра? — Зина сбросила крючок. — Знала бы, что это ты, сразу бы открыла. Я думала...

— Саша из школы ушёл.

— Как ушёл?

— Совсем. Ты же знаешь, что у него только мама. А теперь за ученье надо платить, вот он и ушёл.

— Вот ужас-то! — Зина горестно вздохнула и примолкла.

Она побаивалась Искорку, хотя была почти на год старше. Очень любила её, в меру слушалась и всегда побаивалась той напористости, с которой Искра решала все дела и за себя, и за неё, и вообще за всех, кто, по её мнению, в этом нуждался.

Мама Искры до сих пор носила потёртую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень, оставлявший после удара жгучие красные полосы. Про эти полосы Искра никому никогда не говорила, потому что стыд был больнее. И ещё потому, что лишь она одна знала: её резкая, крутая, несгибаемая мать была глубоко несчастной и, в сущности, одинокой женщиной; Искра очень жалела и очень любила её.

Три года назад сделала она это страшное открытие: мама несчастна и одинока. Сделала случайно, проснувшись среди ночи и услышав глухие, стонущие рыдания. В комнате было темно, только из-за шкафа, что отделял Искоркину кровать, виднелась полоска света. Искра выскользнула из-под одеяла, осторожно выглянула. И обмерла. Мать, согнувшись и зажав голову руками, раскачивалась перед столом, на котором горела настольная лампа, прикрытая газетой.

— Мамочка, что случилось? Что с тобой, мамочка?

Искра рванулась к матери, а мать медленно вставала ей навстречу, и глаза у неё были мёртвые. Потом побелела, затряслась и впервые сорвала с себя солдатский ремень.

— Подглядывать? Подслушивать?..

Такой Искра навсегда запомнила маму, а вот папу не помнила совсем: он наградил её необыкновенным именем и исчез ещё в далёком детстве. И мама сожгла в печке все фотографии с привычной беспощадностью.

— Он оказался слабым человеком, Искра. А ведь был когда-то комиссаром!

Слово «комиссар» для мамы решало всё. В этом понятии заключался её символ веры, символ чести и символ её юности. Слабость была антиподом этого вечно юного и яростного слова, и Искра презирала слабость пуще предательства.

Мама была для Искры не просто примером, и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь. С одной, правда, поправкой: Искра очень надеялась стать более счастливой.

В классе подружек любили. Но если Зиночку просто любили и быстро прощали, то Искру не только любили, но слушали. Слушали все, но зато ничего не прощали. Искра всегда помнила об этом и немного гордилась, хотя оставаться совестью класса было порой нелегко.

Вот Искорка ни за что на свете не стала бы танцевать перед зеркалом в одних трусиках. И когда Зиночка подумала об этом, то сразу начала краснеть, пугаться, что Искра заметит её внезапный румянец, и от этого краснела ещё неудержимее. И вся эта внутренняя борьба настолько занимала её, что она уже не слушала подругу, а только краснела.

— Что ты натворила? — вдруг строго спросила Искра.

— Я? — Зиночка изобразила крайнее удивление. — Да что ты! Я ничего не натворила.

— Не смей врать. Я прекрасно знаю, когда ты краснеешь.

— А я не знаю, когда я краснею. Я просто так краснею, вот и всё. Наверное, я многокровая.

— Ты полоумная, — сердито сказала Искра. — Лучше признайся сразу, тебе же будет легче.

— А! — Зиночка безнадежно махнула рукой. — Просто я пропадушка.

— Кто ты?

— Пропадушка. Пропавший человек женского рода. Неужели непонятно?

— Болтушка, — улыбнулась Искра. — Разве можно с тобой серьёзно разговаривать?

Зиночка знала, чем отвести подозрения. Правда, «знать» — глагол, трудно применимый к Зине, здесь лучше подходил глагол «чувствовать». Так вот, Зиночка чувствовала, когда и как смягчить суровую подозрительность подруги. И действовала хотя и интуитивно, но почти всегда безошибочно.

— Представляешь, Саша — с его-то способностями! — не закончит школу. Ты воображаешь, какая это потеря для всех нас, а может быть, даже для всей страны! Он же мог стать конструктором самолётов. Ты видела, какие он делал модели?

— А почему Саша не хочет пойти в авиационную спецшколу?

— А потому что у него уши! — отрезала Искра. — Он застудил в детстве уши, и теперь его не принимает медкомиссия.

— Всё-то ты знаешь, — не без ехидства заметила Зиночка. — И про модели, и про уши.

— Нет, не всё. — Искра была выше девичьих шпилек. — Я не знаю, что нам делать с Сашей. Может, пойти в райком комсомола?

— Господи, ну при чём тут райком? — вздохнула Зиночка. — Искра, тебе за лето стал тесным лифчик?

— Какой лифчик?

— Обыкновенный. Не испепеляй меня, пожалуйста, взглядом. Просто я хочу знать: все девочки растут вширь или я одна такая уродина?

Искра хотела рассердиться, но сердиться на безмятежную Зиночку было трудно. Да и вопрос, который



только она могла задать, был вопросом и для Искры тоже, потому что при всём командирстве её беспокоили те же шестнадцать лет. Но признаться в этом она не могла даже самой близкой подруге: это была слабость.

— Не тем ты интересуешься, Зинаида, — очень серьёзно сказала Искра. — Совершенно не тем, чем должна интересоваться комсомолка.

— Это я сейчас комсомолка. А потом я хочу быть женщиной.

— Как не стыдно! — с гневом воскликнула подруга. — Нет, вы слышали, её мечта, оказывается, быть женщиной. Не лётчицей, не парашютисткой, не стахановкой, наконец, а женщиной. Игрушкой в руках мужчины!

— Любимой игрушкой, — улыбнулась Зиночка. — Просто игрушкой я быть не согласна.

— Перестань болтать глупости! — прикрикнула Искра. — Мне противно слушать, потому что всё это отвратительно. Это буржуазные пошлости, если хочешь знать.

— Ну, рано или поздно их узнать придётся, — резонно заметила Зиночка. — Но ты не волнуйся и давай лучше говорить о Саше.

О Саше Искра согласна была говорить часами, и никому, даже самым отъявленным сплетницам, не приходило в голову, что «Искра плюс Саша равняется любовь». И не потому, что сама любовь, как явление несвоевременное, Искрой гневно отрицалась, а потому, что сам Саша был продуктом целеустремлённой деятельности Искры, реально существующим доказательством её личной силы, настойчивости и воли.

Ещё год назад имя Сашки Стамескина склонялось на всех педсоветах, фигурировало во всех отчётах и глазло на мир с чёрной доски, установленной в вестибюле школы. Сашка воровал уголь из школьной котельной,

макал девичьи косы в чернильницы и принципиально не вылезал из «оч. плохо». Дважды его собирались исключать из школы, но приходила мать, рыдала и обещала, и Сашку оставляли с директорской пометкой «до следующего замечания». Следующее замечание неукротимый Стамескин хватал вслед за уходом матери, всё повторялось и к ноябрьским прошлогодним праздникам достигло апогея. Школа кипела, и Сашка уже считал дни, когда получит долгожданную свободу.

И тут на безмятежном Сашкином горизонте возникла Искра. Появилась она не вдруг, не с бухты-баракты, а вполне продуманно и обоснованно, ибо продуманность и обоснованность были проявлением силы как антипода человеческой слабости. К ноябрьским Искра подала заявление в комсомол, выучила Устав и всё, что следовало выучить, но это было пассивным, сопутствующим фактором, это могла вызубрить любая девчонка. А Искра не желала быть «любой», она была особой и с помощью маминых внушений и маминого примера целеустремлённо шла к своему идеалу. Идеалом её была личность активная, беспокойная, общественная — та личность, которая с детства определялась гордым словом «комиссар». Это была не должность — это было призвание, долг, путеводная звёздочка судьбы. И, собираясь на первое комсомольское собрание, делая первый шаг навстречу своей звезде, Искра добровольно взвалила на себя самое трудное и неблагодарное, что только могла придумать.

— Не надо выгонять из школы Сашу Стамескина, — как всегда, звонко и чётко сказала она на своём первом комсомольском собрании. — Перед лицом своих товарищей по Ленинскому комсомолу я торжественно обещаю, что Стамескин станет хорошим учеником, гражданином и даже комсомольцем.

Искре аплодировали, ставили её в пример, а Искра очень жалела, что на собрании нет мамы. Если бы она была, если бы она слышала, какие слова говорят о её дочери, то — кто знает! — может быть, она действительно перестала бы знакомым судорожным движением расстёгивать широкий солдатский ремень и кричать при этом коротко и зло, будто отстреливаясь:

— Лечь! Юбку на голову! Живо!

Правда, в последний раз это случилось два года назад, в самом начале седьмого класса. Искру тогда так мучительно долго трясло, что мама отпаивала её водой и даже просила прощения.

— Ненормальная! — кричала после собрания Зиночка. — Нашла кого перевоспитывать! Да он же поколотит тебя. Или... Или знаешь, что может сделать? То, что сделали с той девочкой, в парке, про которую писали в газетах!

Искра гордо улыбалась, снисходительно выслушивая Зиночкины запугивания. Она отлично знала, что делала: она испытывала себя. Это было первое, робкое испытание её личных «комсомольских» качеств.

На другой день Стамескин в школу не явился, и Искра после уроков пошла к нему домой. Зиночка мужественно вызвалась сопровождать, но Искра пресекла этот порыв:

— Я обещала комсомольскому собранию, что сама справлюсь со Стамескиным. Понимаешь, сама!

Она шла по длинному, тёмному, пронзительно пропахшему кошками коридору, и сердце её сжималось от страха. Но она ни на мгновение не допускала мысли, что можно повернуться и уйти, сказав, будто никого не застала дома. Она не умела лгать, даже себе самой.

Стамескин рисовал самолёты. Немыслимые, сказочно гордые самолёты, свечой взмывающие в безоблачное

небо. Рисунками был усеян весь стол, а то, что не умещалось, лежало на узкой железной койке. Когда Искра вошла в крохотную комнату с единственным окном, Саша ревниво прикрыл свои работы, но всего прикрыть не мог и разозлился.

— Чего припёрлась?

С чисто женской быстротой Искра оценила обстановку: грязная посуда на табуретке, смятая, заваленная рисунками кровать, кастрюлька на подоконнике, из которой торчала ложка, — всё свидетельствовало о том, что Сашкина мать во второй смене и что первое свидание с подшефным состоится с глазу на глаз. Но она не позволила себе струсить и сразу ринулась в атаку на самое слабое Сашкино место, о котором в школе никто не догадывался: на его романтическую влюблённость в авиацию.

— Таких самолётов не бывает.

— Что ты понимаешь! — закричал Сашка, но в тоне его явно послышалась заинтересованность.

Искра невозмутимо сняла шапочку и пальтишко — оно было тесновато, пуговики сдвинуты к самому краю, и это всегда смущало её — и, привычно оправив платье, пошла прямо к столу. Сашка следил за нею исподлобья, недоверчиво и сердито. Но Искра не желала замечать его взглядов.

— Интересная конструкция, — сказала она. — Но самолёт не взлетит.

— Почему это не взлетит? А если взлетит?

— «Если» в авиации понятие запрещённое, — строго произнесла она. — В авиации главное — расчёт. У тебя явно мала подъёмная сила.

— Что? — насторожённо переспросил отстающий Стаскин.

— Подъёмная сила крыла, — твёрдо повторила Искра, хотя была совсем не уверена в том, что говорила. — Ты знаешь, от чего она зависит?

Сашка молчал, подавленный эрудицией. До сих пор авиация существовала в его жизни, как существуют птицы: летают, потому что должны летать. Он придумывал свои самолёты, исходя из эстетики, а не из математики: ему нравились формы, которые сами рвались в небо.

Всё началось с самолётов, которые не могли взлететь, потому что опирались на фантазии, а не на науку. А Сашка хотел, чтобы они летали, чтобы «горки», «бочки» и «иммельманы» были покорны его самолётам, как его собственное тело было покорно ему, Сашке Стамескину, футболисту и драчуну. А для этого требовался суший пустяк — расчёт. И за этим пустяком Сашка нехотя, криво усмехаясь, пошёл в школу.

Но Искре было мало, что Сашка возлюбил математику с физикой, терпел литературу, мыкался на истории и с видимым отвращением зубрил немецкие слова. Она была трезвой девочкой и ясно представляла срок, когда её подопечному всё надоест и Стамескин вернётся в подворотни, к подозрительным компаниям и привычным «оч. плохо». И, не ожидая, пока это наступит, отправилась в районный Дворец пионеров.

— Отстающих не беру, — сказал ей строгий, в очках, руководитель авиамодельного кружка. — Вот пусть сперва...

— Он не простой отстающий, — перебила Искра, хотя перебивать старших было очень невежливо. — Думаете, из одних отличников получаются хорошие люди? А Том Сойер? Так вот, Саша — Том Сойер, правда, он ещё не нашёл своего клада. Но он найдёт его, честное комсомольское, найдёт! Только чуть-чуть помогите ему. Пожалуйста, помогите человеку.

— А знаешь, девочка, мне сдаётся, что он уже нашёл свой клад, — улыбнулся руководитель кружка.

Однако Сашка поначалу наотрез отказался идти в заветный авиамодельный кружок. Он боялся, как бы там ему в два счёта не доказали, что все его мечты — пустой звук и что он, Сашка Стамескин, сын судомойки с фабрики-кухни и неизвестного отца, никогда в жизни своей не прикоснётся к серебристому дюралю настоящего самолёта. Попросту говоря, Сашка не верил в собственные возможности и отчаянно трусил, и Искре пришлось потопать толстыми ножками.

— Ладно, — обречённо вздохнул он. — Только с тобой. А то сбегу.

И они пошли вместе, хотя Искру интересовали совсем не самолёты, а звучный Эдуард Багрицкий. И не просто интересовал — Искра недавно сама начала писать поэму «Дума про комиссара»: «Над рядами полыхает багряное знамя. Комиссары, комиссары, вся страна — за вами!..» Ну и так далее ещё две страницы, а хотелось, чтоб получилось страниц двадцать. Но сейчас главным было авиамоделирование, элероны, фюзеляжи и не вполне понятные подъёмные силы. И она не сожалела об отложенной поэме, а гордилась, что наступает на горло собственной песне.

Вот об этом-то, о необходимости подчинения мелких личных слабостей главной цели, о радости преодоления и говорила Искра, когда они шли во Дворец пионеров. И Сашка молчал, терзаемый сомнениями, надеждами и снова сомнениями.

— Человек не может рождаться на свет просто так, ради удовольствий, — втолковывала Искра, подразумевая под словом «удовольствия» время будущее, а не прошедшее. — Иначе мы должны будем признать, что

природа — просто какая-то свалка случайностей, которые не поддаются научному анализу. А признать это — значит пойти на поводу у природы, стать её покорными слугами. Можем мы, советская молодёжь, это признать? Я тебя спрашиваю, Саша.

— Не можем, — уныло сказал Стамескин.

— Правильно. А это означает, что каждый человек — понимаешь, каждый! — рождается для какой-то определённой цели. И нужно искать свою цель, своё призвание. Нужно научиться отбрасывать всё случайное, второстепенное, нужно определить главную задачу жизни...

— Эй, Стамеска!

От подворотни отклеились трое мальчишек; впрочем, одного можно было бы уже назвать парнем. Двигались они лениво, враскачку, загребая ногами.

— Куда топаешь, Стамеска?

— По делу. — Сашка весь съёжился, и Искра мгновенно уловила это.

— Может, подумаешь сперва? — Старший говорил как-то нехотя, будто с трудом отыскивая слова. — Отшей девчонку, разговор есть.

— Назад! — звонко выкрикнула Искра. — Сами катитесь в свои подворотни!

— Что такое? — насмешливо протянул парень.

— Прочь с дороги! — Искра обеими руками толкнула парня в грудь.

От толчка парень лишь чуть покачнулся, но тут же отступил в сторону. Искра схватила растерянного Стамескина за руку и потащила за собой.

— Ну, гляди, бомбовоз! Попадёшься нам — заплачешься!

— Не оглядывайся! — прикрикнула Искра, волоча Стамескина. — Они все трусы несчастные.